

Настя ВЕРХОВЕНЦЕВА

Настя Верховенцева родилась в Альметьевске в 1997 году. Студентка Литературного института им. Горького. Публиковалась в журналах: «Зеркало», «Формаслов», «Флаги», на портале «Полутона» и др.

НА ТОЙ ГОРЕ СВЕТА

Рассказ

Мы проходим мимо большой звездной пыли Северное сияние – выкинутой наверх спутниковой антенны из центра города – или, ещё говорили, мерцающей горы, чтобы нас наконец-то увидели и нашли. Вокруг утренний туман раскладывает свои широкие плечи.

Я держу в одной руке серебряные от инея камушки, во второй – дрожащие пальцы бабушки.

Северное сияние мерцает в глазах. Бабушка смотрит в самое сердце Большой Свиньи, и из неё выпускает дух, как пар, наше озеро:

– Прости меня, Праский, я так перед тобой виноват.

Под тающим льдом слой за кусающим другой слоем начал вырисовываться старый советский ковёр: красный, с дикими узорами, напоминающими то ли драконов, то ли вечеринку леших в лесу, танцующих под адское пламя с тиграми.

В его языках я увидела лицо еле сопящего дедушки, потирающего свой нос. На фоне разноцветными шумами бурчал телевизор: антенна опять барахлила, и её нужно было передвинуть поближе к окну – ей не хватало воздуха.

Белая зима была вечная, камский снег, тающий под босыми ногами, накатывал на небольшой городок бурей, и мы, как в яме, лежали в нём, укутавшись в своё разобщение со всем внешним миром.

Деду было под шестьдесят, он выхаживал своё хрупкое лёгкое, и каждый раз, когда бабушка хоть чуть-чуть приоткрывала окно, он кашлял и ругался, что она опять «впускает злой дым, злой воздух».

– Вода грязная, надо поменять.

В небольшом круглом аквариуме плавали переливающиеся зелёные водоросли, как в волшебном новогоднем шаре снег.

Там были ещё маленькие, совсем крошечные медузы:

– Гидроидные полипы завелись, – говорил дедушка, выписывая щелбан круглому аквариуму. – Хе-хе, жизнь всегда найдёт способы появиться вновь.

Бабушка подошла с половником и с леденящим душу лицом выкинула мёртвую рыбку в унитаз.

– Не бойсь, Татый, эта рыбка совершит три оборота в водных подземельях и ещё обязательно к тебе вернётся. Праский, мы идём чай пить?

– Да, идите уже сюда, только чайник не трожьте, он ещё не наворчался.

– Смотрите! Ищейка! Ищейка идёт.

У меня был детский розовый стол, весь в каких-то непонятных блёстках, грязи, почти блевотине – я тащила на него всё, что находила на ближайшем озере – Большой Свинье, и, как собака, зарывала в землю стола; я тащила всё с улицы, с помойки, с детской площадки.

Стол стоял неуклюже в углу комнаты, в нескольких шагах от места, где сопел, переходя по незнакомым галактикам, дедушка, иногда он поглядывал одним глазом в телевизор и переключал каналы для виду, а пока он искал понравившуюся передачу, я путешествовала по мирам, затаившимся в создании выкинутых вещей.

– Если есть большая свинья, то должна быть и маленькая? – я всегда с интересом спрашивала у бабушки, а она озадаченно смотрела на гладь пустой воды, потому что Малой никогда не было.

Она не знала ещё, что раньше в нашем городе было два озера, озера-близнецы, абсолютно одинаковые по размеру, и даже не было тогда деления на Большую и Малую свинью.

Наша Свинья стала большой, когда внезапно для всех выросла и сожрала свою сестру.

На ёлку, куда я совсем не хотела, меня отвёл, точнее, за руки приволок, дедушка.

Он настоял на том, чтобы у меня было самое целлофановое, самое из-пакетное, самое девчачье розовое платье. От него у меня была крапивница неделю, оно сжимало и давило в груди.

Сверкала и светилась я ярче ёлки, обрывочно сияли пластмассовой пустотой стулья, была ещё на ужин в садике подозрительно пахнувшая рыба: она светилась мигающе, как Большая Свинья, и пахла тоже похоже – слегка простуженный, едковато-протухший запах, доносившийся от первого слоя воды, а за ним – хоровод рыбок, плачущих, играющих тризну по своей павшей подруге, а потом настоящий хоровод с детьми на утреннике, на котором по кругу я облевала всех: каждую прекрасную Снежинку, Белоснежку, гнома-воителя, Деда Мороза, завалившуюся Снегурочку.

После этого меня перевели в другой детский сад, до которого нужно было идти каждое утро через Северное сияние с глазами Большой Свиньи.

Мы ходили на озеро чаще всего с дедушкой, бабушка в детстве чуть не утонула и ужасно боялась глубокой воды.

Дед пускал камни, отскакивающие от пружин, протыкавших старый матрац, натянутый на Свинью, завывая:

– Кул иясе! Что, боишься воды, старый дурак? Я тебя к нам зову!

А я делала куличики из грязи и перемолотой травы с водорослями и иногда долго смотрела в озеро.

– Что ты там видишь? – спросил дедушка, пока я пыталась наружу вытащить то слово, самое подходящее слово, но начала дико, задыхающееся кашлять, почти лаять.

В этот момент из озера стали подниматься пары, похожие на растопыренный хвост белого кота, пытающегося добрать отравленного стоячего над ним воздуха. Громкие вдохи, выходящие из труб-суставов перерабатывающего мириады мусора городка, пробрались в лес, покрывшийся копотью, и там – где-то между озером и натянутым проходом к лесу – случилось наше первое *при-касание*.

В огне потрескивали кости, кинутые бездомным псам. Дети из соседнего дома радостно кричали:

– Шабаш! Шабаш!

А затем пришла Та самая и мальчик с девятью-десятью веснушками – временами десятая на носу подмигивала нам и затем на несколько дней исчезала – одним движением ноги потушил костёр.

Девочку звали Олей, и она была как не из нашего мира: что-то рядом с ней, когда она приходила к качелям, искрилось-постанывало. У неё был шестой палец на руке, ещё один большой – «про запас».

В моей коллекции на тот момент чего только не было. Я забрала, спросив разрешения у двоюродной бабушки, кусок разноцветного платья, которое висело на стене избы и начинало тлеть. Оно было кряшенское, как говорила двоюродная бабуля: «наше, народное, родное», но моя бабушка с ней всегда спорила и говорила, что ей всучили мокшанское платье и обманули, надули как дуру.

У другой бабушки я взяла монетку со стола – уже не спрашивая. Такими украшали платья – без соприкосновения с другими монетками она всё равно теряла свою магическую силу, так что, по сути своей, ей была не нужна.

Ещё где-то за слоями перины я раздобыла выпавший зуб нашего пса – самое сердце моей коллекции, где полувековые народные платья гнили вместе с древесиной избы, а моя любимая чёрная собака, носившая всё детство меня на своих плечах, подвывала из-за того, как по мне скучает.

Я хотела забрать у брата дохлую мышь с его «алтаря», но он не отдал.

– Мы его скоро удалим. Родители очень хотят...

Мы молча топтали пепелище. Дети разошлись кто куда, а мы с Олей остались вдвоём. Я долго смотрела не её руки, они множили движение в воздухе, захватывая что-то, что никто другой не мог понять.

– А он может, он умеет, он... он... он ловит... сигналы? Он может, он что-то говорит тебе?

Оля долго смотрела на палец, затем на меня и, кажется, слегка улыбнулась.

Дедушка подолгу уезжал то ли на завод, то ли куда-то в лес с другими дедами рыбачить. Бабушка сама не знала, куда он едет, но молча собирала ему в дорогу бутерброды и термос с крепким-крепким чёрным чаем.

Перед этим он долго ходил кругами по небольшой комнате, сильно задумавшись, расчёсывая табак в костенеющей трубке.

Люстры своими хрустальными лапками начинали крутиться и бренчать по кругу, и я думала, что дед похож на жука, который вот-вот перевернётся, ляжет на спину ногами кверху, и нам потом с соседскими детьми опять придётся устраивать похороны насекомых.

Через несколько лет, когда дедушка уже давно умер, мама мне рассказывала, что он ездил к своей любовнице. Она жила в какой-то избушке посреди леса. Тётя тоже говорила, что его видели в лесу с какой-то женщиной вдрызг пьяного, со следами поджаренных усов антенны на дрожащих руках.

Большой пушистый белый кот всегда дико поглядывал на дверь – сама идея свободы выглядела такой нелепой и глупой рядом с его роскошным, холёным, как у павлина, хвостом, но она его ужасно манила – и он, как бы охотясь, подходил к двери, имитируя все звуки, эхом отдающиеся от подъездных стен.

При первой же возможности – дверь была чуть приоткрыта, я в одном ботинке, а бабушка увлеченно завязывала шнурки на втором, левая нога случайно опустилась на его хвост – он прикусил меня за босую ногу и сломя голову выскочил в приоткрытую дверь.

По пролётам раздавались крики, перерастающие в лай: вздохи задыхающейся глотки, в которой застрял густой июньский «снег» – громкая липа спадала на прикрытые дрожащие веки и жмурились пальцы, зарываясь в белоснежную шёрстку, за белым хвостом не было видно просвета железного горла, не было слышно, как открылась подъездная дверь, не было, не было слышно.

– Татый, иди сюда.

Я вскарабкалась деду на шею.

– Видишь эту гору? Её ещё называют у нас Северное сияние. Знаешь почему? – я покачала головой. – Потому что её очень-о-очень редко видно. Она вся прячется в смоге, дышит им. Но, когда видно, с неё спускается странный, белёсый, электрический почти свет – и странно мерцает. Я мечтаю однажды забраться на неё.

– Зачем?

– Некоторые не до конца уверены, что она вообще есть. Думают, что она пропадает. Про неё ещё говорят: Странствующая гора. Себе на уме гора. Сама по себе. Но Странствующая гора – так красиво, да? Тебе тоже нравится?

Я кивнула, смотря на то, как у краев горы искрились пурпурные блёстки, похожие на глаза деда, потопленные в утреннем киселе. Я ткнула в них:

– А это что?

– А это... а, я не дорассказал же, да. Люди в нашем городе уверены, что она пропадает не просто так. Что она оказывается в каком-то другом мире. Связана как-то с ним. И я даже подозреваю как.

Он опустил меня и залез в угол балкона, доставая оттуда странное устройство, похожее то ли на антенну, то ли на оружие:

– Вот оно что, Татый. Это оно там блестит, оно нас прячет, и я это обязательно докажу.

В кафельной плитке кабинета сверкали маленькие звёздочки от прожектора и водили хоровод, медленно передвигаясь поближе к выходу.

Мои босые ноги, которыми я помахивала в такт их кружению, выглядели как деревья, окружающие озеро. От спрея, забрызганного в горло, ужасно хотелось спать, и глаза слипались, не подчиняясь моему контролю.

– Астма, да, – врач снял с рук перчатки прорывающим громом пространство, и я быстро воспрянула. Он побил рукой по воображаемым часам и быстро вышел из кабинета.

Бабушка и дедушка подвинулись поближе, и хоровод сверкающих огоньков передвинулся на дедушкины очки и её изумрудного цвета глаза.

В озере водились очень странные – продолговатые и всегда одинокие – рыбы. У них были то ли усы, похожие на рога, то ли маленькие трепещущие антенны.

Иногда казалось, что озеро дышит: вспышки статического электричества подсвечивали его изнутри, как дешёвая подсветка.

– Озеру не хватает еды, оно светится хуже обычного последние дня четыре.

Тогда мы с братом забрали батарейки из бабушкиного склада-про-запас – тайного шкафчика на кухне, и начали бросать их в озеро.

– На какое-то время хватит.

И оно стало светиться ещё ярче, ещё сильнее, ещё чаще.

«Тёмный как лес». Глаза закрывались, как глубокий последний вдох, когда кто-то заводил о нём разговоры. Столпы зудящей пыли, отскакивающие позвонки заводи инверсированного света – на ладони лежала небольшая лужица, к которой можно было вот-вот прикоснуться губами, напиться, но потихоньку вода западала за открытые от страха белки глаз, руки заламывало в судороге. В темноте задышался кто-то древний, скрипя разлетающимися суставами, за ним завывал маленький пищавший голос с ноготок.

Дикая темнота в конце концов становилась знакомой и уютной: пахло влажными грибами и стоячей водой, кричали олени, погоняя неловких медведей, а за стволами деревьев мерцающе пропадал силуэт испуганной женщины, которая силилась кого-то спрятать.

Наш лес был на деле глухим полеском: три осины, туман, бери да заблудись. Он стоял всегда голый, как лысеющий человек, начинающий проявлять безразличие не только к тому, что происходит с ним, но и вокруг: на его голове, за его пределами.

В душе его была вечная зима, полное отсутствие влаги, медленно затухающий пожар.

Про дедушку двоюродные бабушки всегда говорили:

– У него уголёк внутри.

Брат думал, что это значит по-простому: деда любит огонь. Но никак не может им насытиться, потому и курит трубку, потому и прячет вечный окурок где-то в перинах стонущего от табачного дыма балкона. Так он решил принести ему, своему самому любимому дедушке, его самое любимое вещество.

Из кухонного шкафа бабушки, куда он всегда получал доступ перебором разнообразных отмычек, он выудил несколько коробков спичек. Когда я вернулась из кухни, он уже скакал вокруг ритуального пламени. Оно задышалось, потому что он использовал для топлива пластмассу, оно шипело, взрывалось и исходило искрами прямо на наследственный ковёр бабушки.

– Отойди, я сейчас буду прыгать через огонь.

Его ноги, пальцы, двоящиеся ступни, руки, снова ноги замёрзли языками пламени над тлеющими углями – и навсегда, навеки остались в испуганных отражениях семейных фотографий. В центре комнаты, в самом сердце небольшой квартиры, навсегда остался шрам невыносимой любви.

*

Я смотрю на рисунки, возникающие в груди
и задерживаю дыхание.

Жуки, нахлобучив на спины портреты
покойных бабушки, дедушки, двоюродных
бабушки и дедушки, разбегаются в сторону, и
горячая вода выступает остывающим потом на моих руках.

– Так говоришь, как будто я в Бога не верю! – говорил дед, рассматривая макароны-звёздочки в своём супе. – А я верю, и побольше других. Просто вся эта ерунда с причащением, стоять всю ночь в церкви... Исповеди! Параш, ну подумай сама, зачем мне и Богу нужен какой-то посредник между нами? Если я захочу, он прямо сейчас меня услышит.

Бабушка поставила громко тарелку с хлебом, всем видом давая понять, что разговор окончен.

– Он вообще всегда и всех слышит, он всемогущ, – дедушка посмотрел робко на бабушку, затем набрал воздуха и всё же продолжил. – Ходить куличи святить! Да откуда они эту воду берут для освящения, ты вообще знаешь? Хоть из унитаза могут брать, а тебе всё святая вода...

Он посмотрел на меня, а затем несколько минут давил звёздочки дёснами в проваливающемся рту.

– Я вообще от тебя, Костя, ничего не хочу. И даже не просила тебя в этом году идти со мной на освящение. Про Полунощницу я вообще молчу. Эту Пасху ты можешь встретить, где твоей душе угодно: на озере или, может, в лесу. Но не здесь.

Дед продолжал молча перегонять суп по рту, в двух парах его глаз искрились ярко-оранжевые кубы моркови и блеск накатывающего металла.

– Ну яйца-то мы хоть побьём?

Оля, или как её звали на дворе бабушки – Улунка, была кем-то отмечена с самого рождения; кто-то хотел, чтобы закатным татарским вечером мы встретились с ней опять: на берегу, на качелях, во множестве других и не других мест, прижимая к коленям разваливающиеся подорожники и зубы бордюров.

Заря полыхала, как гаражи, рядом с которыми всегда кидали непотушенные окурки – было чем небу разгореться. Мы с Олей сидели у песочницы.

– Мама говорит... что это не очень красиво, – она кивнула в сторону большого пальца-близнеца, – когда так...

– Она врёт, – из-под быстро перевёрнутого ведёрка голо посыпались песчаные бабочки-мотыльки.

Мы вздрогнули от резких криков дерущихся котов, кто-то небесно-белый и домашнему пушистый пробежал в сторону схлопнувшегося заката.

С озера было слышно, как кто-то стонет, поёт странные песни на подыхающем языке сумерек и зовёт нас к себе.

Мне попадался один репейник и больно вгрызался зубами в руки, у мамы венки заплетались сами по себе, раскидываясь под её сверкающими на свету кистями рук, которые колыхались, как шесть травы.

Её волосы, покрытые золотистой росой, пылью, полуулыбками пленённого ею заката развевались на ветру, она смотрела на меня, весело покачивая головой, и смеялась.

Ветер задул так, будто его ударили под дых, а потом начали щипцами вытаскивать разбитые в щебень рёбра: кусочек кусочек кусочек.

Мама обернулась, и улыбку с её лица, и цветы из её рук забрал с собой ветер: ты дань моя, попробуй теперь отбери назад.

Она не отобрала, даже не пыталась, но подбежала ко мне, и уже через мгновение я смотрела через её плечо, как распадающийся в воздухе вертолёт застрял в пасти разомкнувшихся газовых труб.

Два взрывающихся пальца, протыкающих воздух. Братья с подкошенными ногами. Трусливые выхлопные пары на выдохе, застрявшем у пламени ног злого, расчёсанного до крови неба.

Никогда не могла запомнить, как называются свисающие штуки, похожие на пожар, у петухов – я называла их жабрами.

– Жабрики-жабрики, кудах-тах-тах.

Петух смотрел на меня одиноким глазом, презрительно.

Я раскопала ещё больше зёрен и пыталась показать ему, как следует клевать, то есть кушать. Он отвернулся и, тряся могущественным хвостом, направился к сараю.

В сарае среди бездомных лыж и зацветающей кучи мусора дедушка вытачивал гребешок из дерева, чтобы «спутать волосы лешего», как он говорил, но сам он шептал себе под нос:

– Су Анасы, Су Анасы, я тебя не знаю, ты меня не видишь! Су Анасы, Су Анасы, мин сине белмим, син мине күрмисең! Су Анасы, Су Анасы!

Лианы, фальшивые пластмассовые деревья и бутафорские фрукты были разбросаны по клетке три на три – всё, чтобы дети могли сами себя развлечь, отдаваясь потопленным в тысячелетиях инстинктах.

У меня была кукла – обезьянка Роша, и несмотря на её относительную молодость, у неё уже выпадали волосы. Глаза же её трепетно, нежно смотрели вдаль на просвет между лиан.

Там было окно на соседний рабочий квартал, в которое иногда заглядывали свободные, вольные идти куда захотят люди. Из-за грубого рисунка почти туалетного непроходимого стекла, они всегда казались ужасно несчастными, загнанными на работу против своей воли животными.

Когда лиц случайных-несчастных не было, были видны рекламные щиты, на которых за год – пока меня туда водили – перебивало всё: от красивых шипучих таблеток, похожих на конфеты, до кокетливо подмигивающей женщины-медсестры. Она нелепо оттопырила ногу в ажурном чулке, будто бы задумавшись, насколько она ей в этот момент принадлежит.

Потом я обнаружила её в своих кошмарах – в самых потаённых углах. Она всегда приходила в образе пирата, с деревянной ногой вместо той самой в чулке, и что-то как будто наоборот шептала. И улыбалась, да, она всегда – так странно озираясь назад, громко волоча свою тяжёлую ношу, как будто извиняясь за громкий шум своих ног – улыбалась.

В утреннем автобусе, следовавшем по маршруту Б: со Скотопрогонной набережной до Озёрной улицы – той самой, где жила Большая Свинья, ездили одни алкаши и бабушки с хрупкими до свиста руками.

Моя бабуля ещё была в рассвете сил – в пятьдесят-шестьдесят лет, как мне казалось по бабушке, жизнь женщины только начинается, я мечтала дожить до шестидесяти.

– Сейчас зайдём за мясом, а потом к бабе Прасковье. Она уже сделала чак-чак и лапши отварила, – бабушка игриво мне подмигнула.

В автобус зашёл гражданин мира, житель улиц, и все свистящие бабушки и жмущиеся от яркого утреннего света обратно в сиденья автобуса алкаши задвинулись ещё ближе в свои углы. Бабушка спрятала меня за подолом и сама инстинктивно отошла на пару шагов назад.

С мужчины сыпались фантики, клей и грязь опадали хлопьями, газеты шерстили чёрной краской, и отлетали насекомые: то ли саранча, то ли моль, то ли летающие клещи.

Он стоял очень не к месту, обидно и одиноко, посередине кабины, и каждый раз, когда автобус накренило вправо, влево волной выплёскивалась какая-то его часть.

Я подвинулась поближе, и он меня заметил. Он продолжил смотреть на меня, и бабушке пришлось перейти со мной в самый конец автобуса, чтобы приземлиться на плешивое кресло.

А он продолжал стоять и поглядывать, пока резко не достал кусочек красивого-красивого пёстрого стекла, и начал наводить через него на руки субтильных бабушек и дрожащие колени алкоголиков лучи просыпающегося солнца.

Я смеялась, мой смех стоял посреди горла у всех, смех двоился и множился, перескакивая с одних прозрачных рук на недоумевающие лица других.

В озере водилась рыба с большой жёлтой головой, которая как-то нарушала её рыбий баланс и постоянно перевешивала её вправо, она плавала кругами против часовой стрелки.

Ещё там росли голые ветви непонятного происхождения – тянулись маленькими обрубками-руками к воздуху, но водная гладь, покрытая тонким барьером, никогда не пускала их наружу.

Маленькие рыбки заплывали к ним в руки, а потом висели безжизненно, как потухшие пакеты после долгого пути от солнца обратно на землю.

Бабушка жарила по воскресеньям рыбу, потому что это была единственная «серьёзная» еда, которую ела её мама. Тоже Параша, Прасковья – семейное имя, и моей маме повезло, что именно на ней и её сёстрах эту традицию решили прервать.

Вероятно, из-за того, что ровно в тот день, когда мама родилась, Прасковья старшая попала на пустом переходе под машину и впала в кому. Все думали, что она умрёт, и если в этот же день родившуюся девочку назвать Прасковьей, она на себе всю жизнь будет носить тот перекрёсток, переселение душ, зарубку места, где Прасковью сбили. А может, и встанет сама на её место – выйдет из этой точки на зебре, смотря на мигающий красный, как зачарованная, и пойдёт дальше жить не свою жизнь.

В этот день, когда солнце остро заливало родильную палату, осколками впивалось в кожу бабули и новорождённой и отсвечивало в очках розовощёкого, стоящего на улице за окном деда, в семье появилась самая первая не-Прасковья: Света, Светлана, Ланочка, или как её звали бабушки в деревне: Спитлана, Сбитадыр, или по-церковному: Фатина.

Прасковья старшая, правда, из комы успешно выбралась, долго потом рассказывала, что запуталась по дороге и попала случайно сначала в мусульманский, а потом в какой-то ад для всех христиан без разбору, где играла надоедливая турецкая музыка, перемешанная с хитами 80-х, и ужасно, «невыносимо просто» пахло жареным мясом – в котле варились ноги двух свиней, гребешок петуха и чьи-то болотистые волосы. Больше мясо она никогда не ела.

А потом узнала, что родилась первая не-Прасковья в роду за несколько столетий и что дочка её больше детей не планирует, по-детски отвернулась к стенке и не разговаривала ни с кем неделю.

У Оли было шесть пальцев на руке, шесть лун в глазу, шесть полумесяцев-шрамов под подбородком – в три года её покусали в темноте летучие мыши или какие-то лягушки-пиявки на озере.

И всегда, когда темнело на дворе, она чувствовала приближение комаров – вечно стоящий писк в перегретом воздухе. Когда я оборачивалась, она исчезала, а я оставалась убирать игрушки и разрушать куличики одна – чтобы никому с утра это добро не досталось.

В один пылающий предзакатом или очередным дышащим пожаром день я замирая смотрела на её палец и не могла оторвать глаз.

– Хочешь?

– Хочу, – ответила я, и она мне его обещала.

Передвижение бабушки и дедушки по квартире стали похожи на игры земли с луной: одна тянет прибой, другая его натягивает к своему сердцу. Один идёт в одну сторону, другая – на противоположную сторону от квартиры, планеты.

В какой-то момент они просто сидели по разным углам: бабушка на кухне смотрела в крошечный телевизор, прибитый к подоконнику, дедушка ловил шумы в гостиной на экране побольше.

Я видела, как через их экраны разноцветные пятна шума – бельма на засветившемся глазу – к нам, когда мы спали, подглядывали, и вылезали из коробок оленьи рога-ветки.

– В озеро всё упущенное сбудется непременно, – говорила мама, отщипывая лепестки с розово-алой розы. Они, кружась, падали и сгорали там заживо, покрываясь пеплом.

– Никогда не ведись на дураков, всегда думай своей головой, ладно? – она подтянула меня к себе.

– Ладно, – проямлила я, пока маленькая рыбка с хоботом пришла за своей добычей.

– Вот видишь, как бабушка твоя... страдает... видишь... – она поджала губы и отвернулась, с её подбородка капли падали прямо в затопленные кувшинки и продавливали их дальше вглубь.

– Никогда не ведись... – говорило эхом озеро, пожирая все мамины слёзы, как топливо.

Я засунула вглубь палец и достала его в чёрном мазуте, в электрических проводах и искрящихся шариках ртути.

Время-песок. Так говорил мой брат, снаряжаясь в поход за новой партией подопытных головастика. Время – время-песок, – говорил он, залезая в древний кафтан с обвалившимися пуговицами, который он нашёл в кладовке в деревне.

Время-время, – произносил он и вышагивал на слепнущую спросонья улицу, залитую жёлтым светом, в котором гордые петухи да курицы умывались и начищали клювы. Песок, – говорил Даня с пригоршней добычи, и петухи, раскланиваясь, расходились в стороны, держа в своем сердце тоже по десять камней – дань его мудрости.

Брат перешагивал через каждую лужу, глазом расчётливого убийцы смеряя, сколько новых головастика там назрело и сколько ещё нужно песка.

Когда замёрзшее озеро припорошило, к нему, как к языку, стали липнуть букашки, оставленные с осени зимовать листья и дети, катающиеся на санях.

Рыбы, ветви бились из дна озера, чтобы добрать хоть немного декабрьского света, но к ним была привита *привязанность* озера, моё скомканное с ним *при-*

косновение – тёмная цепь, вся во мху и водорослях. Вокруг неё летали светящиеся в темноте искринки, пылинки, и если прийти в час ночи, встать ровно посередине озера, проделать среди снега окошко и внимательно всмотреться в озёрную тьму, можно было увидеть, как электрически трепещет озёрное бычье-и-цепье сердце.

Я слышала эти истории от ребят постарше, которые глядели в самую тьму.

Дедушка опять куда-то пропал. Уже было два дня, как от него ни слуху ни духу.

Бабушка сидела у телефона и вздрагивала от каждого звонка или небольшого удара. В пузырьках валерьянки и валокордина отсвечивали скачущие огоньки, как в стёклах-глазах дедушки.

– Я приехала как только могла, извини, мама, – бабушка вздрогнула от холодного поцелуя в щёку, и только сейчас до неё донеслись слова дочери.

– Света, привет, Светочка, – она схватила её за красную с мороза руку.

– Мы его найдём, ты не переживай так только, обязательно его найдём.

Тётя достала замёрзший в глуши подполья балкона самовар, отряхнула и начала драить наши искажённые с братом отражения. Брат потянул меня в угол за рукав:

– Деда медведь съел.

– Что?

– Дедушка охотился на него, ну, ты знаешь. И он, ха-ап, – Даня раздвинул руки и быстро скомкал движение обратно, – он его съел.

– Я тебе не верю.

Животное с толстыми лапами – тряпичная полуголая бабка на верхушке самовара – тряслось от тяжёлой работы тёти и всё больше походило на медведя.

– Видишь, – показал Даня на игрушку. – Такой медведь его и сожрал.

Сыновья тёти притаранили большущие коробки с игрушками со складов.

– Будем наряжать, чтобы когда вернулся, всё было красивым, да? – тётя подмигнула нам, бабушка махнула рукой и ушла обратно к себе на кухню.

– На ужин надо будет столько всего приготовить, голова кругом идёт. Свет, ты тут надолго?

Мама сидела в углу комнаты, опутив лицо в руки, и слёзы, как снег за окном, врезались в её ладони.

– Светка, ты меня слышишь?

Дедушки не было уже третий день, и по ночам с озера доносились громкий выдохи ветра, и стоны, и стоны, и стоны.

Лес длился десять зажатых пальцев, две перепёлки и пять раз запотевшее и изрисованное окно. Затем деревья редели, выступали жирные мхи и запах зацветшей воды, перемешанные со ржавым металлом.

Проволоки-проводники вылезали из свежих ран деревьев, начиналось болото. В дни замёрзшего озера на другой стороне, если в час дня подойти к самому эпицентру болота, можно было увидеть, как какая-то девочка приближается с варежками вокруг лица и шепчет:

– Дедушка, деда, ты где? Пожалуйста, вернись, деда, мы по тебе все так скучаем.

Недалеко от избушки, стоящей на опушке леса, лежал непробудный пенёк, издалека похожий на мужчину лет шестидесяти. Иногда его нога подрагивала или на его кепку цвета хаки садились синицы с расцарапанным красным пузом.

Он вставал, чтобы пройти до краюхи леса, обходил всё кругом, но возвращался обратно и засыпал сном мертвецким. Издалека слышно было, как плачут по нём медведи, а болотистые русалки с Су Анасы вшивают в свои волосы молнии – крики затерявшихся любимых, которые их никак не найдут. Они статическим электричеством к их спинам притягивались, и все листья, усыпавшие подолы леса, на несколько секунд поднимались в воздух, а потом аккуратно обратно падали.

Мы ездили пару лет до того с дедушкой в какой-то промышленный соседний город, где не было ничего кроме заводов и сломленных труб. У нас тоже почти ничего не было кроме таких же труб, но хотя бы была Большая Свинья, лес и иногда – мерцающая в лучах гора. А у них вот был зоопарк прямо посреди города.

– Да, знаю, знаю я, откуда он, – говорил дедушка и подходил, задумчиво пощипывая бороду, к одинокой обезьянке, которая дико и испуганно смотрела на нас из угла своей клетки. – На них эксперименты ставили, Пуня.

– Что ты говоришь такое? – бабушка попыталась рефлекторно закрыть мне уши, но было поздно.

– Чего, ты думаешь, они такие зашуганные?

Макака, сидевшая по соседству, забралась к самому потолку и начала подставлять ладони, чтобы закрыть чувствительные глаза от яркого света.

– Да, и нормально их так помучили, – дед кивнул бабушке в сторону обезьяны, которая обсасывала грязную, чем-то сочащуюся палку.

– Что это, господи, Костя...

– Параш, не подходи.

Из рук обезьянки выпала свежая лапа кролика, которая будто ещё чуть-чуть и была готова побежать обратно в норку.

– Господи... ты боже...

Солнце действительно светило ужасно, заряжаясь болью, обволакиваясь отравленным дымом, и всё пепелилось в зените.

Дедушку нашли через три дня, припорошённого снегом.

– Судя по количеству снега, он не так давно лежал. Не убивайтесь так. Пару часов назад завалился разве, – говорил троюродный брат, отряхивая чёрную шапку от белых тающих звёзд. – Вот, вот так, садитесь, Константин Никифорович, вы как, меня слышите?

– Оттуда! Оттуда идёт! – дед показал на угол, которого я всегда боялась.

– Кто?

– Медведд-дь! Кощей! Леший!

Родственники испуганно переглянулись. Дед улыбнулся и начал истошно смеяться, из его десен шла кровь на стыках с мутными зубами:

– Су! Су! Сууу-у! Су Анасы-ы!

– Так, хорошо, дедушка идёт в ванну, а вы все давайте на кухню, я сейчас что-нибудь состряпаю.

Братья поволокли деда из комнаты, а он брыкался в ответ и смотрел на угол, указывая своим жалким, по-дедовски немощным пальцем сначала на сломанные часы в углу, потом на неработающий телевизор с вышитыми ажурными салфетками, пока не остановился на мне:

– Ты! Ты! Ты её видишь?

Метель продолжалась три дня, женщины на рынке не покладая рук отряхивали с продуктов вязкие слои снега, а скрип лопат вшивался в звуки разрезаемого машинами мокрого снега с дорог.

На рынке во выюгу оставались только тётя Глаша с белыми ресницами, несколько подпивающих дедов, включая вечно весёлого Алёшу, который с детства знал моего деда и каждый раз грозился замучить меня своими усами при поцелуе.

Адриан и Марат за соседней лавкой торговали рыбой, и за слоями дремучего снега каждый хвост выглядел как русалочий:

– Это русалки там у тебя, деда? – спрашивала я, глядя из-под могущественных плеч и усов деда Алёши.

– Ха-а! Да, именно, – Марат потянул большую рыбину за хвост и начал крутить её над головой.

– Что ты делаешь, ты так убьёшь кого-то!

С рыбы сыпалась сверкающая чешуя и пропущенный как через тёрку лёд, который сливался с идущим с неба снегом.

– Я сейчас эту русалку как оживлю, – деда Алёша опустил меня к женщинам за прилавком, а сам подскочил к Марату и начал выхватывать у него из рук рыбу. – Оживлю, полюблю, домой увезу новую жену!

Рыба плюхнулась на прилавок как живая. Алёша склонился над ней, приобнял и поцеловал. Смех стоял в горле, как в закрытом сосуде, который вот-вот взорвётся рядом с горящим огнём, и не мог выбраться, задыхаясь от трёхдневной метели.

Дедушка обморозил несколько пальцев на ноге и, как говорила мама, был из-за этого не очень в себе.

Он не мог пить чай, если в нём отражались какие-либо источники света – приходилось над ним стоять с руками-зонтиками или и вовсе оставлять его в полной темноте. Если не сделать этого, он тут же ронял кружку, и за обморожением следовали бесконечная череда ожогов, приходящих к мизинцу на поминки.

Он совсем перестал спать, всю ночь просиживая на кухне, слушал тихо радио, чтобы не быть наедине со своими мыслями. Но раз в час-два он кричал:

– Медведь! Чёрт! Леший! Су-у!! Су Анасы... Убёг! Я от тебя убёг...

И бабушка подходила к нему из другой комнаты, смотря в его паучьи стеклянные глаза, держа за руки:

– Күчтә, Күчтә, ты слышишь? Успокойся, Күчтә, всё хорошо, ты дома, в тепле, ты больше не в лесу. Күчтә! Костя!

Дед лающе заходился смехом, и если это происходило в ночи, я просыпалась и начинала кашлять ему в такт, бабушка разрывалась между нашими кроватями, странно поглядывая в тот самый угол, пока мы, как одинокие и покинутые псы, завывали песню, предназначенную не для её ушей.

Цветы, которые насобираала мама для венков, давно засохли и лежали понуро в противоположном от красного угле.

Часы с волком икающе чавкали, и я вздрагивала каждый раз, когда они пробивали новый час, а дедушка начинал нервно ворочаться на кресле – опять не вышло заснуть.

Один раз посреди ночи его обмороженный мизинец на ноге начал странно звенеть-сиять.

Вообще он был уже не такой чёрный – не совсем уголёк-уголёк, а заливался более здоровым синим цветом, как нормальный человеческий синяк.

– Кровь идёт. Это хорошо, – говорила довольно старшая сестра, а потом скрывалась в непонятном направлении до следующего осмотра.

Часы пробили два часа. Из тьмы за окном начали образовываться сосудистые ветви, пока клубок из вязкой жижи не упал прямо посередине комнаты – в самый шрам ковра.

Клубок притворился вороной с горгульей пастью и быстро приблизился к ноге дедушки.

Я пыталась кричать, чтобы добудиться деда, но лежала разбитая параличом.

– Вкусно, – ворона причмокивала, и эти звуки доносились как из-под миллионных слоёв плёнки. Щелк-щёлк-и-мавк.

– Вкусно. Вкусно.

Я пыталась подвигать хотя бы пальцем, но меня приковали к постели, оставив в живых для пытки только мои глаза.

Из пальца посыпалось что-то красное, как песок.

– Кровь идёт, – сказала причмокивающе ворона. – Это хорошо. А ты, – она повернулась прямо ко мне, – сиди тихо и помалкивай.

Наутро дедушка разлил несколько чашек чая себе на колени, а палец странно-странно шипел и просил: ещё, етш-щ-щё.

Его забрали с ужасным сепсисом, температура под 40, никак не сбить, заражение крови. Палец отрезали.

– Он выберется, обязательно. Он у нас такой сильный, мам, – говорили сёстры.

– И всё из-за этой шлюхи в лесу, – прошептала моя мама под нос, когда бабушка, заливаясь слезами, пошла обратно в палату.

В озере не было слышно ни шагов, ни воя врагов, ни топота уходящего в глубь леса человека. Только электрический шёпот, писк.

Зверь, запутавшийся лапами в слое пожухлых веток рябины, не мог подойти и напиться. Из его брюха доносился бег тысячи лисиц, волков, ланей, и на фоне стучал кто-то в копыта, как в ладоши – радостно, тихо, громко.

– Палец! Палец! У меня будет новый палец!

В глади пара, распадающегося в лесу упавшим зеркалом, видно девочку, которую пытается женщина оттащить от середины озера, но её язык прилип намертво прямо к бьющейся в темноте льдине.

– Пуп земли это, – говорили дети, наутро рассматривая красную пятиконечную звезду посередине озера.

– Надо присыпать, – девочка прибила ногой стопку снега – маленькую плотину, но через неё кровь всё ещё смотрела на них своим нежно-розовым взором.

– Лепесток, розы лепесток, лепесток сирени! – она задумчиво наклонила голову.
– Надо присыпать. Да, – она продолжила орудовать ногой. – Надо присыпать.

Дед притаился в углу бабушкиного гаража-склада, он играет в прятки. Я знала, я чувствовала, что он где-то рядом, ходила через ряды со сверкающими упаковками и пыталась словить сигнал – тонкое журчание электричества-воды.

Я чувствовала, что он где-то был...

Брат ходил тоже понурый, и даже перестал ставить нескончаемые эксперименты над всем живым-неживым, что попадалось под руку, и когда среди лабиринтов стеллажей и полок мы с ним случайно встречались, расходились молча, как мёртвые.

А он был, всё ещё был где-то рядом.

– Ондохлый уже, – проговорил соседский мальчик, переворачивая блестящего зелёного жука без одной лапки. Она осталась лежать через весь двор на уличном столе.
– Смотрите, – он ткнул в него палкой.

– Шевелится, он шевелится!

– Не шевелится он, Таня, дура!

– Шевелится, он живой, живой!

Из проткнутого брюха жука выходили перевёрнутые созвездия и радиосигналы, которые невозможно было разгадать.

На следующее утро мы его похоронили.

Дедушка лежал во гробу бледный и безоружный.

– Очки даже не разрешили надеть на него.

– Как будто они там очень нужны ему, Свет.

– А нам они тут на что? – размазывая слёзы по лицу, говорила мама. – Он в них всю жизнь проходил.

– Ну да, как для фотки. Ну, для документов. Обязательно нужно надеть очки, если ты в них обычно ходишь.

– То есть ты хочешь сказать, Илья, что его на том свете без них не узнают?

– Что вы говорите вообще такое, мальчики? Идите отсюда.

Братья прошли ближе к гробу: среди пышных складок обивки, в миллионных слоях, как в слоёном тесте, лежал он – маленький и бессмысленный, совсем отдалённо похожий на нашего дедушку.

– Да, так его там точно не узнают.

– Заткнись ты, Коля.

Гнев, направленный внутрь. Дедушка лежал посреди леса с неестественно вывернутыми щиколотками, коленями и поломанной шеей. Вокруг летали мухи.

Покрывало снега резко вытянули из-под него, и он оказался в поле: цветущее, медовое поле, прямо над его ухом жужжат осы, но дед никак не проснётся.

Гнев, направленный наружу. Мама собирает венки, сидя на фоне догорающих покрывшек и газовых башен-близняшек, со спичек падает последний осколок пепла.

Брат несёт по квартире маленький огонёк.

– Он разгорелся, смотри! Он разгорелся!

Он замедляется, но бег становится ближе и ближе, его голос зажевывает магнитная плёнка:

– У него уголёк, смотри! У него уголёк смотри У не- -го -го... уго- -ри

Из угла из года в год на меня смотрели: Казанская богоматерь, Матрона, увезённая из Москвы, Святая Прасковья – в нескольких экземплярах: большая, большая, малая, малая, много, много раз. Цветастое рукоделие, всегда бело-красное, с небольшим количеством зелёного: расшитые ленты для подпоясывания, бахрома, монетки с нагрудных повязок и ожерелий, звон-звон, советские ажурные салфетки, отрывок чёрно-белого завалившегося жука – түгэрэк жаулык, кряшенский головной убор. И повалившаяся глиняная лошадь с обожжённой шеей, маленькая деревянная фигурка барана и свиньи – их прабабушка с бабулей между собой называли киреметью, но на мой вопрос, что это, вечно косились и делали вид, что меня не слышали.

К брату-лётчику бабули, разбившемуся на самолёте, со временем добавился дедушка с ввалившимися глазами – они безучастно смотрели на всё, что происходит в комнате, и только когда раз в пару дней отражения свечей с красного угла попадали им на лицо по очереди, их взгляд оживал, а лицо оттаивало, и хотелось даже приблизиться и сказать им пару слов.

Из другого угла рычал волк-медведь-подбитое-лыко:

– Ты его не спасла, ар-р, ра-ар! И мне нечего больше есть.

Мама тогда оставила меня у бабушки на год.

Я смотрела на кукол на подоконнике, затем переводила, как стрелки часов, глаза на безжизненные чёрно-белые, музейные портреты, затем на злого волка, и снова на деда. Я не трогала кукол полгода, чтобы они запомнили ощущение воздуха, когда они ещё были рядом.

Сквозь сетку на подоконнике проклёвывались первые почки берёзы, гиацинты подбирали что-то витающее на улице и радостно шептались запахами, а слёзы заполняли экраны телевизора, занавешенные зеркала, окна, к которым больше никто не хотел прикасаться.

Бабушка осунулась и стала последней Прасковьей на земле – такой же крошечной, скрюченной, она подходила к красному углу и сбрызгивала всё вокруг святой водой, как своими слезами.

На днях умерла сестра бабушки, а за ней её престарелая мать, а бабушка только и причитала, что:

– Беда не приходит одна. Отец, сын, святой дух, всегда тройками, их забирают тройками.

– Никак не могу починить этот дурацкий кран, – Арсен выходил весь заляпанный в чём-то чёрном, каждый раз всё больше и больше.

– Ничего, не страшно. Забудь, отпусти. Не страшно, не страшно. Забудь, отпусти. Не страшно, не страшно уже ничего. Забудь.

Под тонкой коркой льда ближе к лесу я захватила электромагнитные волны и там нашла: фантики любимых конфет двоюродной бабушки со стёртыми лицами зверей и мордами сказочных принцесс, крышку от бутылки со святой водой, монетки с дырками и потёршимися силуэтами: чаще всего с двуглавыми орлами, но были и незнакомые мне силуэты, арабские вязи и распускающиеся турецкие цветы, а ещё – две пары сверкающих глаз, потонувшие в луже. Зовущих меня туда, зовущих меня.

Я разбила, я её разбила, лужу эту, и осколки навсегда, навсегда прекратили своё вещание.

Когда я захожу в душ после мороза, всё искрится. Всё пощипывает иголками кожу. Я трогаю холодные ноги, не совсем понимая, что они мои.

Вода попадает в приоткрытый рот, и горло сжимается в испуге. Как чайник, не наворчавшийся, выплёскивает закипающую воду: нет места ей. Я отхаркиваю хлорку, воду, слизь, содержимое лёгкого, в нём – дедушкины стёкла, вставшие поперёк гортани, согнутые монетки, расшитые когда-то красивые поясы-ткани. И пыль: подвенечная, бесконечная, пыль моя. Пыль ни о чём не знающего, ни о чём не помнящего города и исчезающей горы в белых лучах пронзённого насмерть света. Города, который так и лежит под вздёрнутым смогом где-то в районе сердца, а заволакивающий мои глаза дым сталкивается с небом на фоне рушащихся труб-близнецов и взрывается. Это не глаза – это два озера, две сестры размножившиеся держатся друг с другом за ручей между ними как за пуповину, за руку. Это тьма красного угла, распатанная в час ночи, откуда на меня смотрит, медленно поворачиваясь... Это пыль, пыль моя, подвенечная, вечная, то, что с собой ношу, и

воят вдали невыносимо медведь-волк, всеми покинутый. Я кидаю ему монетку в темноту, но не слышу, как она о дно ударяется.

Мама собирала меня в садик, молча вычёсывая волосы целый час, что-то приговаривая на них, чтобы потом за пять минут зацепить какую-то резинку поверх другой резинки: ой, да чёрт с ней.

Она рассказывала про диких женщин, живущих в лесу:

– Они ходят голые, всегда вместе, группами.

– Им не холодно?

– Нет, у них покров волосяной хороший, всё тело в волосах. Когда они бегут за тобой, они закидывают свои груди себе за плечо, чтобы не мешались, – мама приблизилась ко мне, чтобы укусить. – Х-а-ап! Они опасные, они могут напасть, если их не задобрить.

– Как их задобрить?

– Ну, знаешь, накормить, например, – мама наклонила голову, примеряясь к резинке: настал ли её черёд. Видимо, нет. – А если их покормить, оставить им еду где-нибудь, они вообще отличные женщины. И по хозяйству там помогут, и даже за детьми приглядывают. Говорят, лучше себе жены не найти. Идеальные, небесные жёны.

Мама открыла красную шкатулку в бисере и убрала туда гребень из слоновой кости. Шкатулка сказала: ца-ап.

– Даня, Даня, ты где?

Я нащупала скользкую руку брата в полной темноте ванной:

– Фу, что это?

– Сегодня целую семью слизняков нашёл, ты только посмотри на них!

– Бе, нет, спасибо. Я тебе кое-что хочу сказать по секрету. Обещаешь никому не говорить?

Я почувствовала, как брат кивнул.

– Я знаю, где дед.

Несколько слизняков громко, как с горки, покатались с его руки на самый низ ванной.

– Таня, он умер.

– Нет, он ушёл к своей небесной и дикой жене. Он ушёл в лес.

Луна из преисподней. По небу за ней бежит отрубленная голова – так говорят – и когда она проглатывает луну, она опять выходит из раскрытого горла. Лунные затмения – праздник крошечной тьмы.

А сегодня – сегодня луна просто дьявольская, красная, набухший чирей, повисший у горизонта. Надо смотреть, надо вбирать в себя, пока она здесь есть, не успеешь обернуться, как она уже превратится в маленькое смешное блюдце, завывающее прямо у потолка.

Дедушка любил луну, особенно он любил на неё смотреть под конец жизни – он либо пропадал в лесу днями, неделями, либо был прикован к стеклу как к экрану. И

тикали часы жизни отмеренной – волк-медведь завывал, посасывая свою оторванную лапу, а дедушка чесал палец, будто вот-вот он его лишится, будто он знал.

Чуть рядом что-то падает – он озирается. Брат говорил, что слышал, как дед воет, я говорила, что глупости. Пока какой-то тёмной ночью не наткнулась на него, сидящего в темноте, и из-под полы его четырёх пледов не выпал сверкающий белый осколок.

– Давай так его оставим.

Мы старательно натягивали на палец Оли резинки, которые искали всем двором по углам в квартирах. Кто-то притащил нейлоновую нить, мы укутывали палец, оставляя усы-«проводники». Они вели к старым поломанным очкам дедушки, больше никому не нужным, к загнутым монеткам и к тому самому сверкающему осколку.

– Ай! Больно!

– Извини.

– Подождите! – брат прибежал, запыхавшись.

– Что это?

– Пульт, пульт! Дед же любит телевизор смотреть!

– Не нужен нам пульт!

Дане было всё равно, он молча обматывал пульт от телевизора со всех сторон, особенно стараясь захватить самые потёртые клавиши: 3, 5 и 8:

– Эти каналы он чаще всего смотрит, наверное, он очень по ним скучает.

Нам оставалось найти только волчьи клыки, но ни у кого из соседских детей, кроме меня, не было даже собачьих.

Мы выносили рыбу из озера, из ванной в квартире бабушки, из ванной на огороде тёти – строем, друг за другом: я, брат, ещё один брат, двоюродная сестра, троюродные братья, сёстры, мама, папа со стёртым лицом, тётя, тётя, бабушка, двоюродная бабушка, её муж.

Впереди всегда шли: Прасковья старшая, двоюродная бабушка, дедушка – со сверкающими, лоснящимися жиром лицами, все в чешуе, как будто они уже объелись рыбы.

Не помню, куда мы её складывали, но к самому сердцу комнаты из ковра – слепящим солнечным светом, как к гравитационному центру, нас притягивало.

Лицо Прасковьи осветилось и мигнуло: на мгновение она превратилась в радостную пятилетнюю девочку. Посыпались монетки – звон-звон – просачиваясь из отслаивающейся хлопьями пластмассы лепнины на потолке, а узоры на красных коврах огненными львами обжигали нам щёки.

Прасковью стало затягивать, и мы, как за репку, схватились за неё, но она говорила, она молила: нет-нет, пожалуйста, не надо, отпустите, вам надо меня отпустить.

Дед достал из кармана лестницу, устроил её на руке и жестом предложил Прасковье спуститься.

– Спасибо, Күчтэ, дорогой.

Снова пятилетняя девочка подселась в её глаза, и монетки посыпались, а она светилась-светилась, пока не стала совсем крошечной и не спустилась по лестнице с ладонь дедушки.

Под конец её пути палец бабушки засосало в светлую выгребную яму, и на комнату опустилась тьма. Задышалась я, кашляла, свернувшись в клубочек, и билась у дотлевающих ковров в углу в судороге, и лежало рядом выкинутое из моря рыба-лёгкое, испещрённое монетками как иголками, продавленное в вечном недосмотренном сне.

– Какие-то дурацкие рыбки, – брат зевающе подвинулся дальше от озера, переключившись на поджигание муравьёв.

– Тры-парып! Тры-пруп, – говорила я им, и они понимающе выкатывали на меня глаза.

– Пруп-пыры-трып. Пруп-трып.

– Ты у нас теперь на рыбьем разговариваешь?

Я молча посмотрела на него, и он, устыдившись, ушёл.

– Прр-рып! Пруп-тыры, – это значило: «Не обращайтесь внимания на этого дурака».

Я погрузила ладонь плашмя в скользящую поверхность воды, и мои пальцы накрыло нисходящими волнами бьющегося-бьющегося сердца озера.

Укутавшись и сравнившись с рыбками, пальцы отдавали всё своё тепло им, излучая мощные лучи радиации. Рыбки вплотную подошли к ним.

Рыбки были пальцами, голые пальцы плавали в озере, начинённом батарейками, как взрывчаткой. В откормленной радиацией, большой, жирной, обмасленной Свинье не было ничего кроме крошечных белых пальчиковых, мизинчиковых, дрыгающихся и меняющихся местами полюсов плюсов и минусов, дрожащих ветвей инаковорастущего дерева, на котором повисли сдутые и проколотые лица моих утонувших бабушек-дедушек.

Я закрываю глаза и вижу взрывающиеся вулканы.

Из вспышек выходит златокудрий конь, его голова – это миллион солнц, а грива – млечный путь, на который падают осколки света фонарей с улиц.

Со смерти бабушки прошло десять лет. Я приезжаю на несколько дней погостить к бабушке, и она ставит трясущимися пальцами на неровный стол чайник, выбегающая вода обжигает её пальцы. Я тянусь к нему.

– Подожди, подожди, дай ему поворчать, он ещё не наворчался. Ты чего пригорюнилась?

Я рефлекторно убираю руку из-под лица и долго смотрю на её сморщившиеся пальцы – все в укусах от каких-то неведомых жуков и зверей на огороде, некоторые в пластмассовых напальчниках, которые только сейчас мне начинают напоминать презервативы.

– Баб, а что с бабушкой-то стало?

Она снова облила себя кипятком – на этот раз из кружки:

– Тань, вот надо оно тебе, а? Ну зачем лезть?

Весь оставшиеся день мы провели на разных кроватях, смотря в резной пластмассовый потолок. Я – на верхней койке двухуровневой кровати, так высоко, что лепнину можно было пощупать, она – на раскладном диване, где они спали с бабушкой.

Из завинчивающихся узоров к нам хотели прорезаться монетки-адское-пламя, но им некуда было пасть.

Спустя время рана зажила, и о дедушке все как будто забыли. Так, иногда за столом кто-то молча поднимал бокал: за тех, кто не с нами, и все выпивали, не чокаясь.

Я отрывками пыталась восстановить ход времени, порядок действий, но всё перемешалось, как только лёд с озера начал сходить и своими зубьями злыми сомкнул палые челюсти. Больше не было прохода, горло сомкнулось намертво. Только спускались с горы на город белые лучи под откосом, которые совсем не грели.

Где-то недалеко в лесу он всё ещё лежал и дышал громко, потому что бежал, бежал запыхавшись от своего монстра, от дико любившей его женщины с накинутыми за спину грудями. Она не отпустила его. Женщина, дедушка, монстры, их ноги, кинжалы шерсти, шерсти множились, как отражения, и уже сотня силуэтов – грязных, в болотных лужах и рябящих волосах – припорошивали его снегом: больше ты никогда не заснёшь, никогда-никогда не вернёшься. Теперь ты мой.

Он бежал он споткнулся он лежал и тяжело громко неостановимо дышал и в моей груди были одинокие всеми покинутые псы оставленные на растерзание голодному медведю – на каждый глубокий вздох на каждое поднятие груди мерцали высоко заливающиеся холмы.

Пальцы его покрывались чёрными росписями и вращались в землю – в вечную мерзлоту. Он мерцал для меня напоследок на той горе из скомканного астматического света. Он мерцал он бежал он устал.